

Наоборот

Сразу хочу успокоить вас, души дорогие, я вовсе не намерен разворачивать перед вами всю историю моей жизни. Напротив, расскажу лишь об одном дне — том дне, когда закончилось мое детство.

15
דאס לעבן

Рассказ о детстве всегда смахивает на сказку, но мое детство сказкой и было. Меж двух больших лип скособочилась наша деревянная избушка. Большую часть двора занимали надгробия, но под ними никто не лежал. Они дожидались, когда отец высечет на них имя очередного усопшего.

Избушка стояла на околице местечка Хорбица. Историки — чтоб им пусто было — конечно, заявят, что Хорбицы отродясь не существовало. Но ежели так, умники вы этакие, где же я тогда родился, а? Нечего вам на это ответить.

Конечно, я не смогу указать широту и долготу, на которых находится Хорбица, — в хедере я учил Тору, а не географию, — но могу утверждать, что это где-то на просторах Речи Посполитой, в трех днях езды на лошади от местечка Шв́арце Тўмэ и в пешей доступности от деревни Дыровка... Что? Не верите?! Все это подлинные названия, сами можете проверить!

Господи, и откуда в людях эта упертость, когда речь заходит о фактах? Вы что, уже планируете экскурсию по местам моего детства? Нет? Тогда позвольте мне продолжить, будьте так любезны.

Когда в других домах веселились да радовались, празднуя Пурим, в нашем домишке бушевала буря. Я тарасился на родителей, кружившихся, точно рвущиеся в бой петухи... Секундочку. Прошу прощения. Оказывается, не так уж это просто — рассказывать.

Всякий раз, когда я принимаюсь делиться своими детскими воспоминаниями о жизни в Хорбице семнадцатого века, меня принимают высмеивать, а то и просто стороной обходят. Однажды даже поколотили. Ой, души, как же жестоко меня тогда пинали, даже руку сломали. А посему, из соображений безопасности, я предпочту вести рассказ от третьего лица. В некотором смысле это будет только справедливо: огромная дистанция отделяет меня от того ребенка, которым я был когда-то. Мальчик Гец, так меня звали, куда дальше от меня, чем полные незнакомцы. Глядишь, чужие люди и смогут меня вынести, тогда как Гец способен лишь погружаться в разочарование, ведь он возлагал надежды на себя, то есть на меня.

Итак, в тысяча шестисотом с хвостиком году, в хлипкой лачуге на окраине Хорбицы, мальчик Гец тарасился на родителей, кружившихся, точно рвущиеся в бой петухи. Мать — мамэ Малкеле — вздергивала свой нос картошкой, наскакивая на длинный кривой нос отца — татэ Переца. Господь благословил Малкеле волосами цвета яичного желтка, светлыми бровями и синими глазами, в которых ничуть не отражалась ее угольно-черная душа. Перец, в отличие от нее, так и пылал — от рыжей бороды и до медной

кожи, словно раскаленной от огня, будто его пердержали в печи материнской утробы.

Татэ Перец визжал своим бабьим голосом:

— Зог мир бекейрем, Малкеле, их фрэг дир дос лецте мол: ву из эс?!

Ой, мамэ-лошн!* Ах, если бы я только мог описать на идише эту часть моего детства. Увы, от идиша остался у меня лишь едва ощутимый привкус на языке. С радостью передал бы я его, да хоть с поцелуем, но кто станет со мной целоваться, а, души?

Итак, татэ Перец визжал своим бабьим голосом:

— Отвечай мне как на духу, Малкеле, последний раз тебя спрашиваю: где она?

17

В поисках бритвы он уже перевернул в доме все, до чего только смог дотянуться. Малкеле следила за действиями мужа, пока наконец не взорвалась:

דאס לעבן

— Разве не сказано в Писании: “Не стригите головы вашей кругом и не порти...”¹

Но ей не пришлось завершить цитату.

— Ну-ка, цыц! Тоже мне, Писание она излагает! — с издевкой воскликнул Перец. — Тебе бы следовало родиться мужчиной!

— А тебе — женщиной! — И мамэ вздернула подбородок.

На земляном полу рядом с Гецем свернулась в клубок семилетняя Гитл. Пальцы ее заплетали косу, с губ срывалось невнятное “др-др-др, гр-гр-гр”. Если Гец был поглощен наблюдением за битвой гигантов, то Гитл будто пребывала в ином мире. Закончив заплетать халу косы, она обнажила розовые блестящие беззубые десны, сунула косу в рот и с вожделением принялась жевать ее.

* Родной язык (идиш).

— Где эта проклятая бритва? — Перец с силой дернул себя за бороду, лишь чудом не вырвав ее. — Если я сей момент не отыщу ее, то пальцами повырываю себе всю бороду, волосок за волоском, клянусь тебе!

— Все мужчины местечка к празднику расчесывают бороды, — пожаловалась Малкеле, — и лишь мой муж хочет свою бороду выдрать.

— Заповедь праздника Пурим — умножать веселье, — буркнул Перец.

— Разве нельзя умножать веселье без греха?

— Изображать царицу Эстер не грех. Как можно вообразить себе свиток Эстер без Эстер? Ясное дело, никак.

— На прошлый Пурим Цви-Гирш нарядился царицей Эстер, и помнишь, что он тогда сделал? Да просто обмотал бороду платком, а всем сказал, что царица зубами мается.

— Как по мне, Цви-Гирш хоть всю рожу может себе обмотать! — Перец схватил деревянный короб и высыпал из него сушеные грибы.

— С чего это бритве прятаться в грибах? — всплеснула руками Малкеле.

Снаружи донеслось страшное мычание. Корова отходила. Ее розовый мягкий язык, в который Гецу так часто хотелось ткнуть пальцем, был весь в красных язвах. Ноги отказывали ей, глаза запали в глазницы, шкура обтягивала кости.

— Гец, хочешь попробовать? — Гитл протянула брату обслюнявленную косу.

Гец отбросил ее с отвращением.

— Как работать, так его нет, а игры играть — он тут как тут, — пожаловалась Малкеле, обращаясь к кому-то невидимому.

— Это я-то не работаю? — возмутился Перец, тоже адресуясь к слушателю-невидимке. — А откуда же тогда мозоли у меня на руках, если не от молотка, который ее отец оставил мне в наследство!

Перец имел в виду тесало каменотеса, которым он высекал поминальные надписи на надгробиях. Малкеле связала веревкой разбросанный Перцем хвост и начала монолог:

— С тех пор как дело перешло к тебе, евреи, кажется, перестали умирать. Когда мой отец, да будет благословенна память праведника и да истребится имя злодеев, был жив, к нам в очереди выстраивались, чтобы купить надгробную плиту. Однажды даже гой заявился! Да, гой тоже умирают, да смилуется над нами Господь, но тот гой за грехи свои хотел, чтоб на его надгробии высекли черту на черте, крест! А отец отказался — но как отказался? Ты спроси, как он отказался. Так отказался, что под конец они даже обнялись! Люди в трауре, с разбитыми сердцами, спрашивали его: “Реб Ицхок, ты веришь в воскресение мертвых?” А он, бывало, отвечал: “Если уж евреи встают из-за стола после субботнего чолнта², то и из могилы встанут, когда придет срок!” И люди смеялись, люди, только-только потерявшие близких, — смеялись! Вот такой он был, мой отец. А ты что?

— К радости моей, я не твой отец. Я твой муж, к сожалению, — процедил Перец, ползая на четвереньках в поисках бритвы, щурясь и поводя носом, словно принюхиваясь.

Гитл ухватила слабыми своими пальчиками за кончик голубоватой ткани, проглядывавшей между сваленными у печи поленьями. Заметив ее движение, Гец сноровисто вытянул из-под дров сокровище и возгласил:

— Нашел!

Гитл попыталась было протестовать, но никто не услышал ее из-за воплей отца семейства, двумя руками обхватившего голову сына и смачно поцеловавшего его в лоб.

Души дорогие, даже когда я пишу эти строки, я слышу запах его пота, запахи лука и камня, и это амбре приятнее мне аромата мириад благовоний.

Перец исследовал вожденную бритву в тоненьком лучике света, проникавшем снаружи. Солнечные зайчики скакали по стенам, словно светлячки. Подойдя к чану с водой для умывания, он окунул в него лицо, от бороды до бровей. И, став похож на водяного, истекающего влагой, он тихо проговорил:

— Все вон.

— Перец, это грех! — взмолилась его жена и прибегла к последнему своему тайному оружию: — Ради чистой души Ицикла!

Ицикл, вот только его не хватало. Даже теперь, по прошествии четырехсот лет, одно упоминание его имени погружает меня в морок детских страхов. Ицикл вышел из утробы матери раньше Геца и Гитл, но успел провести в мире Пресвятого, да будет благословен, меньше суток. Считается, что всякий, кто провел в этом мире меньше тридцати дней, приравнивается к выкидышу, его положено похоронить в земле без обозначения могилы, и запрещено скорбеть о нем по законам траура, нельзя ни произносить поминальную молитву, ни оплакивать его семь дней, как если бы он и не жил никогда. Души, как так “не жил никогда”, если он плакал? Я же скажу: кто плакал — тот жил.

Об Ицикле больше молчали, чем говорили, а по-сему мне не оставалось ничего другого, кроме как

сплести историю мертвого моего брата из разрозненных нитей слухов, невнятного бормотания, доносившегося словно из сна, и байки, гнавшей прочь сон и рассказанной слепым шляпником Гешлом, еще когда он был просто шляпником, а не слепым.

Умершего младенца, конечно, похоронили тайком, однако жалостливый синагогальный служка открыл скорбящим родителям место могилы — возле тропы, ведущей от пасеки к дубраве. И уже через несколько дней, вопреки всем правилам, на могиле появилось надгробие с высеченной надписью “Ицикл, ה"לנצב”³. Прежде о таком и слыхом не слыхивали — чтобы уменьшительное имя было высечено на надгробной плите. Уменьшительное имя, и более ничего.

21

דאס לעבן

Нетрудно догадаться, кто дал “выкидышу” имя. Моего деда по матери звали Ицхак, друзья же называли его Ицикл. И кто с таким умением высек имя на надгробии, всем также было ясно — скорбящий отец, мастер по могильным плитам Перец. Однако вскоре случилось то, что все называли наказанием Небес. Надгробная плита треснула посередке, а под ней оказалась лишь пустая ямка. Ицикл исчез.

Люди верили, что Пресвятой, да будет благовен, преисполнился гневом за совершенное преступление и забрал младенца к себе. Родичи же утверждали, что дикий зверь когтями вырыл тельце младенца из земли. Но тут из Дыровки, близлежащего села, вернулся слепой шляпник Гешл, который еще не был слепым, но уже был шляпником, и рассказ его навевал ужас. В тамошней церкви был выставлен на всеобщее обозрение в открытом гробу младенческий скелет, и верующие прикладывались к его ногам. Священник говорил, что это мощи христианского младенца, умерщвленного евреями, дабы на его крови

приготовить пасхальную мацу. Гешл был уверен, что скелет принадлежит не кому иному, как “выкидышу” Малкеле, извлеченному из могилы.

По всей Хорбице кипели страсти. Родственники обвиняли Гешла в болезненных наваждениях и советовали ему съесть горсть ягод рябины, помогающих от лихорадки. Если бы гои поверили, что евреи убили христианского младенца, Хорбицу давно сожгли бы дотла из мести. Гешл не остался в долгу, объясняя, что дыровчане вовсе не винят именно жителей Хорбицы. “Мало, что ли, в округе еврейских местечек, на которые можно возвести кровавый навет? Огонь еще доберется и до Хорбицы, а вы что думали?” — говорил он с гневной убежденностью пророка. Тем временем дела Переца шли все хуже, ибо кто захочет лежать под могильной плитой, установленной тем, против чьих деяний восстали сами мертвые. Потерявшие близких родственники предпочитали два дня скакать на лошади до ближайшего еврейского местечка, лишь бы не прибегать к услугам Переца.

Ох, души, как легко скатиться в пучину неведения. Ко времени рождения Геца его брат Ицикл был уже два года как мертв, но рассказ Гешла все передавался из уст в уста. И пара ушей, до которых он дошел, принадлежала юному Гецу. История эта перевернула весь мир Геца: неужели кости его брата выставлены в церкви? И если евреи пользуются кровью при выпекании мацы, почему маца не красная? Что ощущают, лобызая ноги скелета? И почему в хорбицкой синагоге не выставляют скелеты в гробах?

Одной ночью Гецу приснился сон, в котором он сам был выставлен в дыровской церкви. Когда гои приблизились и стали рассматривать его, он восстал от оцепенения и закричал: “Слушай, Израиль:

Господь — Бог наш, Господь — один!”⁴ А что же гои? Перепугались до смерти, все как один.

— Ради души Ицикла, — взмолилась Малкеле тем поздним пуримским утром, стоя перед мужем, размахивающим бритвой, — не ради меня, ради Ицикла.

Гец и Гитл знали, что мертвый ребенок был ей дороже живых ее детей.

— Не смей произносить это имя! — выкрикнул гневно Перец. Одной рукой оттянув бороду, он поднял другую руку с бритвой. — Гец, выведи отсюда женщин, а не то я перережу себе горло.

Неокрепшими руками девятилетнего мальчика Гец повлек за дверь маму и сестру. Шмыгнул своим девятилетним носом и произнес девятилетним голосом:

— Ну, мамэ...

Души дорогие, я сказал “ну” и сказал “мамэ”, однако, как уже было сказано, я оставил попытки разговаривать с вами на идише. Но я постараюсь припомнить и описать свет, озарявший двор тем зимним утром. Такого света, что поделаться, уж нет во всем белом свете.

То был возвышенный свет семнадцатого столетия, не потускневший с того мгновенья, когда Творец сказал: “Да будет”. Когда он сияет, все люди суеются, как муравьи, когда гаснет — замирают, как камни. Свет этот властвовал над работой в полях, торговлей на рынках, над молитвами в синагогах и церквях. Свет, еще не познавший ужаса электричества, не опаленный газовыми фонарями, не соперничающий с лампами накаливания, не ослепленный неоновыми вывесками. Свет, смеявшийся над факелами, что пытались обратить ночь в день. Божественный свет, равно расположенный ко всем, к христианам и

евреям, к богатым и бедным. Добрый свет, красивый свет, свет, какого нет больше. Странно, как можно тосковать по свету.

Когда они вышли наружу, Малкеле поспешила к единственной своей союзнице — подыхающей корове. В зимнюю пору домашний скот жил под одной крышей с людьми. Однако наша корова отказывалась входить внутрь, даже из-под палки. Малкеле говорила, что здоровая корова очень чувствительна и должна, глядя вверх, видеть небо, в доме же она задыхается.

Солнце уже стояло высоко, от выпавшего несколькими днями раньше снега не осталось и следа, и воздух, прохладный и чистый, щекотал ноздри. Стайка желтобрюхих синиц всполошилась в ветвях бесплодной яблони, росшей во дворе, в едином порыве взмыла над могильными плитами. Гец прошел под навес, служивший защитой при обтесывании надгробий, и пнул валявшийся на земле колышек. Маленькая Гитл попыталась повторить его движение и едва не упала.

Минутку, души: быть может, вы представляете себе девчушку в стиле двадцать первого века, продукт прививок и технологически обработанной пищи, с зубами, белыми от зубной пасты, с промытыми шампунем волосами и ногтями хищного зверя, дочь исполинов с повышенной сознательностью и капризами? Однако Гитл не была такой, вовсе нет. Люди в том столетии были ниже ростом. Что подвигло человеческий род подрасти? Пища? Медицина? Генетика? Если вы спросите меня, то только эго, человеческое “я”, которое, разбухая все больше и больше от столетия к столетию, выпрямило согбенную спину человека, раздвинуло позвонки в его спинном хребте.

Так или иначе, ростом семилетняя Гитл была не выше молодого подсолнуха. Хрупкое ее тельце словно

было сплетено из стеблей, кожа прозрачна, голосок тоненький. Но плакала она громко, “ревом хаззана”⁵, как называл это ее отец, отнюдь не из умиления.

Чтобы заглушить звуки натужного дыхания, по-прежнему доносившиеся из дома, Гец уступил мольбам Гитл “называть ей буквы”, чтобы она могла показывать их на надгробиях. Он сказал “пей” и сказал “нун”, а она, прикусив язычок, указала на буквы пальчиком. Чтение глазами никогда не сравнится с касанием пальцем всех выступов и впадинок на высеченных в камне буквах.

Надгробия с высеченными на них буквами предназначались для бедных. На них была заранее сделана надпись: “пей”-“нун”⁶ — “Здесь покоится человек чистый и честный” или “женщина достойная и скромная”, хотя Перец и утверждал, что трудненько найти среди них чистых, честных, достойных и скромных. Под этой надписью оставалось место для указания имени покойного и его родственных связей: имярек сын такого-то, такая-то женщина, а также дат рождения и смерти. В нижней части надгробного камня высекались пять букв, которых удостоивается любой еврей, кем бы он ни был: הָנֶזְכֶּה — “да будет душа его увязана в узел с живущими”. Об этом мечтали все — быть увязанными вместе в единый узел. До пришествия Мессии, конечно.

Единственным евреем, боявшимся пришествия Мессии, был Перец. Только этого ему не хватало, чтоб мертвые воскресли и стали обозревать надгробия, которые он им поставил. Нет сомнения, что жалобы не заставят себя ждать: “Это не то, о чем мы договаривались”, “Буквы не той формы”, “Вензеля не такие”, “Стих из Писания не на том месте”. Конец света станет настоящим концом для мастера по надгробиям.